

Д. С. Лихачев,

академик

ЛОЖНАЯ ЭТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА У Н. С. ЛЕСКОВА

Как известно, Н. С. Лескова очень часто упрекали в своеобразном «аморализме», цинизме, в ретроградном отношении ко многим вопросам общественной жизни своего времени и прочее. Во многом эти осуждения Лескова шли от непонимания построения его произведений, их поэтики.

Лесков — писатель, который применил своеобразный, интригующий читателя прием «ложной моральной оценки» создаваемой им в его рассказах ситуации. Сложность получающегося повествования и вводила читателя в заблуждение, вынуждая его к моральным несогласиям с автором.

Виктор Шкловский писал в свое время о сюжетной «ложной разгадке» в прозаических произведениях. Лесков же единственный в своем роде писатель, который применил в своих произведениях (обычно рассказах) своеобразный интригующий читателя прием «ложной моральной оценки». Поясню, в чем он заключается.

Итак, писатель-прозаик всегда немного (или даже «много») «играет с читателем». Чтобы заинтересовать его, писатель то создает «ложные разгадки», то развертывает перед читателем сложные ситуации, из которых как будто бы нет прямого выхода. Есть «загадки» прямые, а есть и косвенные, которые не воспринимаются как загадки.

Укажу на одну из самых распространенных в реалистической прозе косвенных загадок.

Одна из особенностей реализма XIX века заключалась в «активизации» читателя — читателю «самому» предлагалось приходить к тому или иному заключению или к той или иной оценке изображаемого. С этой целью автор очень часто «маскировался» рассказчиком, который обычно избирается им из людей простоватых, как бы не понимающих значения рассказываемого. Читатель поэтому как бы «домысливал» за рассказчика.

Образ рассказчика, будь то Белкин у Пушкина, Максим Максимович в «Герое нашего времени» Лермонтова, пасечник Рудый Панько в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Гоголя, «хроникер» или подросток Долгорукий в романах Достоевского, всегда в каком-то отношении «ниже» не только автора, но и читателя. Читатель таким образом испытывает, с одной стороны, некоторое удовлетворение от того, что он «сам» догадывается о смысле рассказываемого, а с другой стороны, тоже не без удовлетворения, ощущает себя выше рассказчика.

При этом следует обратить внимание на одно обычно не замечающееся обстоятельство. В противоречии с этой искусственной простоватостью рассказчика находится его искусство повествования, без которого, в сущности, не могло бы существовать и самого художественного произведения как художественного. Однако «условие игры» требует, чтобы читатель как бы не замечал этого повествовательного искусства простоватого рассказчика.

Решение и оценка рассказываемого в какой-то мере обычно подсказывается читателю стоящим за спиной рассказчика автором. Читатель «чувствует» точку зрения автора, как бы он ее внешне ни маскировал, и принимает за свою собственную.

Создается как бы двухслойное повествование: есть придуманный автором рассказчик (Белкин, Максим Максимович, Рудый Панько, «хроникер»), но есть и стоящий за спиной этого рассказчика сам автор, которого читатель все-таки чувствует и оценки которого угадывает, которого признает настоящим автором.

Нравственная оценка рассказываемого обычно не расходится у придуманного рассказчика и самого автора. Оценка автора обычно сложнее, глубже, чем оценка придуманного повествователя, в чьи уста вкладывается рассказ, но в общем они идентичны. Случается, что рассказчик дает явно ложную оценку рассказываемого, но и в этом случае читатель и автор не расходятся в своем отношении к рассказываемому. И вот это уж обычно происходит всегда... Но не у Лескова.

Произведения Лескова демонстрируют нам (обычно это рассказы, повести, но не его романы) очень интересный феномен маскировки нравственной оценки рассказываемого. Достигается это довольно сложной надстройкой над повествователем ложного автора, над которыми возвышается уже совершенно скрытый от читателя автор, так что читателю кажется, что к настоящей оценке происходящего он приходит вполне самостоятельно.

Тот автор, который стоит за рассказчиком и пересказывает то, что тот повествует, снова ложный, и этот ложный автор (второй за рассказчиком) необходим для того, чтобы дать ложную нравственную оценку, с которой явно не согласится читатель. Надо учесть, что этическая оценка в произведениях Лескова всегда играет первостепенную роль, но в литературе очень редки случаи, чтобы нравственная оценка имела еще и интригующее значение. Благодаря явно неверной нравственной оценке (я бы сказал, «провокативной» оценке) читателю кажется, что к своей оценке он пришел совершенно самостоятельно.

Поясню свою мысль на рассказе Лескова «Бесстыдник». Мне придется в общих чертах пересказать этот короткий рассказ, чтобы сделать понятным, в чем заключается провокативная функция ложного автора.

Ложный автор рассказывает историю, якобы слышанную им в кают-компании на одном углу суденышке после перенесенной бури.

Повествователь, рассказ которого пересказывает «автор», стремится пояснить своим повествованием ту мысль, что человек ведет себя так, как ему

определено его службой: геройствует, когда это подсказывается его военной или морской службой («мундиром»), и ворует, когда это позволяет его служебное положение, например интенданта.

Ложный автор предваряет рассказ своего придуманного рассказчика — «старого моряка» Порфирия Никитича — уверением читателя, что он сам вынужден был целиком согласиться с моральным выводом Порфирия Никитича. Это парадоксальное и загадочное согласие и вызывает повышенный интерес читателя, так как читатель в течение всего «многоэтажного» повествования ждет: как же будет оправдано воровство, да еще так, что с ним должен был согласиться герой Севастопольской кампании, человек, безусловно, не только честный, но, как выясняется, и пострадавший со всей русской армией от этого интендантского воровства.

Порфирий Никитич рассказывает, как он однажды очутился в почтенном обществе, довольно большом и пестром, но в котором оказались и несколько «наших черноморцев», познакомившихся с хозяином дома «в севастопольских траншеях» в войну 1855—1856 годов. Среди присутствовавших оказался и интендант, чье незаконно приобретенное богатство всячески подчеркнуто его грузной, оттапливающей внешностью, необыкновенной толщины бумажником, набитым десятирублевками, всеми дурными манерами «нужорища». В его присутствии рассказчик Порфирий Никитич пространно и громко возмущается воровством интендантов. Старый интендант продолжает невозмутимо играть в карты, не обращая никакого внимания на оскорбления, которые ему наносит Порфирий Никитич, а в конце концов, вынужденный к тому прямым к нему обращением Порфирия Никитича, произносит нравоучение, с которым принуждены согласиться и Порфирий Никитич, и все присутствующие, в том числе и старые обворовываемые интендантами черноморцы, проливавшие кровь в севастопольских траншеях, а в конечном счете и «автор».

Что же эта за мораль, с которой соглашается и сам мнимый «автор», пересказывающий рассказ Порфирия Никитича?

«...нельзя же так утверждать, — говорит интендант Анемподист Петрович, — что будто одни ваши честны, а другие бесчестны. Пустяки! Я за них заступаюсь!.. Я за всех русских стою!.. Да-с! Поверьте, что не вы одни можете терпеливо голодать, сражаться и геройски умирать; а мы будто так от купели крещения только воровать и способны. Пустяки-с! Несправедливо-с! Все люди русские, и все на долю свою имеем от своей богатой природы на все сообразную способность. Мы, русские,

как кошки: куда нас брось — везде мордой в грязь не ударимся, а прямо на лапки станем; где что уместно, так себя и покажем: умирать — так умирать, а красть — так красть. Вас поставили к тому, чтобы сражаться, и вы это исполняли в лучшем виде — вы сражались и умирали героями и на всю Европу отличились; а мы были при таком деле, где можно было красть, и мы тоже отличились и так крали, что тоже далеко известны. А если бы вышло, например, такое положение, чтобы всех нас переставить одного на место другого, нас, например, в траншеи, а вас к поставкам, то мы, воры, сражались и умирали, а вы бы... крали...»

От этого заявления вора-интенданта Анемподиста Петровича все присутствующие (заметим — даже и те, что сражались в траншеях) «пришли в ужасный восторг от его откровенности и закричали: „Браво, браво...“»

Создается впечатление, что интендант-вор высказал необыкновенно мудрую мысль. Рассказ заключается словами Порфирия Никитича, с которыми молчаливо соглашается и «автор»: «Ну, понятно, я после такого урока оселся со своей прытью и... откровенно вам скажу, нынче часто об этих бесстыжих речах вспоминаю и нахожу, что бесстыдник-то — чего доброго — пожалуй, был и прав».

Итак, «бесстыдник», но «прав». Откровенно циничный взгляд признается правильным, хотя и с некоторым реверансом, признанием его правильным только «чего доброго», но не безусловно.

Читатели понимают различие Порфирия Никитича и Лескова, но различие «автора», пересказывающего рассказ Порфирия Никитича, и Лескова совсем не обозначено. Читателю надо самому разобраться в аргументации «бесстыдника», раз уж первые двое признают его правым. Разобраться в этом не так уж в конце концов трудно. Во-первых, «бесстыдник» допускает совершенно явную логическую ошибку — преувеличение тезиса своего оппонента. Порфирий Никитич отнюдь не утверждал, что все русские люди делятся на героев и воров. Речь шла только о севастопольском войске, и то, я думаю, интендантов там была вовсе не половина, а едва двадцатая-тридцатая часть. Во-вторых же, тезис об оскорблении всех русских Порфирием Никитичем в условиях еще николаевского режима был откровенной политической провокацией. Порфирию Никитичу подобного рода обвинение угрожало арестом...

Если со стороны интенданта циничская речь его была политической провокацией, то в плане литературном отождествление авторской точки зрения с точкой зрения интенданта

следует рассматривать как «провокативную» мораль. Эта авторская «провокация» должна заставить читателя задуматься и не только не признавать этого высказывания, но прийти к прямо противоположным выводам: отвергнуть — и тезис интенданта, и всю систему, порождающую такое легкое и «мундирное» поведение казнокрадов: только одень героя в мундир интенданта, и вор готов...

Такой «провокативный» прием встречается в произведениях Лескова нередко. Доводя до абсурда этику разного рода чиновников, их бюрократические способы действия, Лесков оставляет своих читателей самим разбираться в том, что хорошо и что плохо, создавая тем самым поразительно острые ситуации и разыгрывая ложный конфликт со своими читателями.

В связи со всем сказанным и возвращаясь к рассказу «Бесстыдник», хотелось бы предложить читателю одно любопытное наблюдение. «Наивный» рассказчик Порфирий Никитич наивен только в своих этических выводах, но, как уже мною было сказано, подобного рода подставные рассказы вразрез со своей внешней простоватостью вовсе не простоваты как художники. Рассказ Лескова «Бесстыдник» написан после «Севастопольских рассказов» Толстого, после его кавказских рассказов, описывающих поведение героев во время сражений. И вот замечательно, что вор-интендант Анемподист Петрович, осыпаясь градом обвинений со стороны Порфирия Никитича, ведет себя точь-в-точь по «этикету» толстовских военных героев, что и необыкновенно значительно, если принять во внимание, что речь в рассказе идет об описанной Толстым Севастопольской кампании, с одной стороны, и что ложная мораль рассказа заключается в том, что воры-интенданты тоже «герои», только поставленные «у другого дела» и одетые в другие мундиры... — с другой.

Анемподист Петрович невозмутим во все время словесной его «бомбардировки»: занят своим делом — игрой в карты, а затем, перейдя к действию, занят не менее прозаическим делом — пережевыванием и смакованием превосходной семги, что постоянно подчеркивается даже тем, как он говорит, как он растягивает слова. Жующий рот героя у Толстого один из приемов передачи «простоты и правды» военного героизма.

Таким образом, «Бесстыдника» Лескова можно в известной мере рассматривать как отклик на «Севастопольские рассказы» Толстого.

Обращу внимание на следующие детали изображения героев в «Севастополе в августе 1855 г.». Первая же встреча с севастопольскими солдатами:

«Два пехотных солдата сидели в самой пыли на камнях разваленного забора, около дороги, и ели арбуз с хлебом.»

— Далече идете, землячок? — сказал один из них, пережевывая хлеб...»
Далее подчеркивается наслаждение едой:

«— В городе, брат, стоит, в городе, — проговорил другой, старый фуражничек, копавший с наслаждением складным ножом в неспелом, белесом арбузе...»

Нечто похожее на рассуждения лесковского интенданта слышится и в следующих словах одного из севастьяпольских офицеров:

«— Ведь вы сами рассудите, господин смотритель, — говорил с запинками другой, молоденький офицерик, — нам не для своего удовольствия нужно ехать. Ведь мы тоже, стало быть, нужны, коли нас требовали. А то я, право, генералу Крамперу непременно это скажу. А то ведь это что ж... значит, не уважаете офицерского звания.»

Та же тема — «работаем, куда поставили», слышится и в ответе станционного смотрителя, на которого обрушился гнев проезжавших офицеров: «...дайте только до конца месяца дожить — меня здесь не будет. Лучше на Малахов курган пойду, чем здесь оставаться. Ей-богу!»

Сравним и следующие слова самого Толстого, которыми он объясняет поведение одного трусоватого офицера: «Он действительно бы был героем, ежели бы из П. попал прямо на бастионы...»

Следует еще отметить, что действие очерка Л. Толстого не только развертывается на фоне чаепитий, еды борща, но и на фоне карточной игры, ее «последствий», нужды в деньгах, лихоимства «величественных» обозных офицеров.

Значит ли это, что рассказ Лескова следует рассматривать как непосредственный отклик Лескова на «Севастьяполь в августе 1855 г.»?

Рассказ Лескова «Бесстыдник» написан им вне зависимости от последующего увлечения Лескова толстовством. Первоначальное название его было «Медный лоб» (см. письмо Лескова С. Н. Шубинскому от 4 мая 1887 года), затем — «Морской капитан с сухой Недны. Рассказ entre chien et loup¹. (Из беседы в кают-компании)». Рассказ Лескова обостряет толстовскую проблему героизма на том же севастьяпольском материале. Трудно сказать — доведено ли это обострение до внутренней своеобразной полемики с Толстым, но вот что ясно: Лесков воспользовался толстовской концепцией героизма, чтобы создать интригующую «моральную загадку» в своем произведении². В отличие от прямого морализирования «в лоб» у Льва Толстого, Н. С. Лесков очень часто превращает мораль в элемент литературной интриги, и это делает его одним из своеобразнейших писателей в мировой литературе.

¹ «Entre chien et loup» («между собакой и волком») — сумерки. В сумерки принято было экономить свечи и горное масло. В это время, когда работать было уже нельзя, а свечи и лампы зажигать рано, обычно занимались разговорами и «рассказами кстати» — на случайные темы.

² В недавно вышедшей книге американского исследователя творчества Лескова Маклина (Hugh McLean. Nikolai Leskov. The Man and His Art. Harvard University Press. Cambridge. Massachusetts, 1977, pp. 40—41) подчеркивается иронический смысл циничных высказываний Анемподиста Петровича. Маклин близок к тому решению вопроса о «ложной морали», которое предлагаю я, но не отмечает своеобразной связи со вторым из севастьяпольских очерков Л. Толстого и иронического смысла всей ситуации в целом — даже фигуры «не выявившего» себя «героя» — Анемподиста Петровича. В целом книга Маклина — одно из лучших и проницательнейших исследований творчества Н. С. Лескова.